

А. К. Секацкий

Под общей редакцией  
докт. филос. наук, профессора  
С. А. Лишаева

Исправление ошибки

Ю. Разинову

1

Важнейшим моментом теодицеи, во всяком случае, христианской теодицеи, является свобода воли — проблема, имеющая множество поворотов, аргументов и способов аргументирования, но при этом не так много альтернатив. В сущности, развилка, на которой могла бы разминуться с Богом одинокая человеческая душа, всего одна. О ее правильном понимании и пойдет речь. Конечно, всегда возможно сделать возможное невозможным — сверхзадача состоит в том, чтобы сохранять возможность иного исхода до последнего.

Обозначим сначала один из самых общих подходов к проблеме. Итак, обоснования свободы воли распадаются на отдельные силлогизмы, но в целом образуют некий непорочный круг. Пройдемся по нему.

В мире существует зло, которое Господь не сотворил, сотворяя свой мир. Венец творения — человек, он образ и подобие божие, но лишь через него приумножается зло в мире. Почему допустил это Господь? Сказать ли, что его всемогущества недостаточно, чтобы предписать человеку правильный образ действий? Такое теология даже не рассматривала. Сотворив человека, Господь создал существо, свободное в своих поступках, — в сущности, именно это и значит *сотворить человека*. Свобода, находящая выражение в непредопределенности поступков, может способствовать как совершенствованию разума — деятельного разума, так и возрастанию хаоса, если отнять у нее эту двоякую (как минимум) возможность, она просто потеряет имя, перестанет быть свободой, пусть даже при этом сильно облагородится. Человеческая свобода, таким образом, есть особый тип

176 : **Mixtura verborum' 2011: метафизика старого и нового**  
: философский ежегодник / под общ. ред. С. А. Лишаева. —  
Самара : Самар. гуманит. акад., 2011. — 172 с.  
ISBN 978—5—98996—104—7

Материалы очередного выпуска ежегодника *Mixtura verborum* посвящены философскому исследованию старого и нового. Метафизика старого и нового разрабатывается в разных измерениях, на разных уровнях и в разных контекстах (творчество в онтологическом и культурном контексте, творение и преображение человека, стереотипное поведение и новизна, забвение и память, парадоксы креативности, новации виртуально-сетевой реальности и др.).

Издание рассчитано как на специалистов, так и на широкий круг читателей, интересующихся актуальными проблемами философского и гуманитарного знания.

УДК 1  
ББК 87

ISBN 978—5—98996—104—7

© Самарская гуманитарная  
академия, 2011

причинения, если угодно, высший тип причинения в тварном мире, свойственный только венцу творения и всему творению как целому. То, что возникает в мире посредством человека, крайне важно для Бога, и из Писания ясно можно понять, что человек для него высшая ценность. Почему?

Резюмируя соответствующее направление богословской мысли, можно сказать: все прочее сущее, удерживаемое посредством физического причинения (строгого детерминизма), Богу досконально известно и не может явить ему ничего нового. Лишь сущее, не подотчетное строгому детерминизму, несет в себе новизну и непредсказуемость, лишь свободный выбор существа, наделенного свободой воли, обладает и настоящей ценностью. Все опознанное в мире зло (неопознанное — тема особого разговора) можно представить как совокупность издержек свободной воли человека. Не слишком ли они велики — тут спорящие расходятся. Но если в чем-то творение мира продолжается, так это в возобновлении усилий на праведность праведников и на обращение грешников.

Прообразом божественного интереса к человеку выступает человеческий интерес к Другому, а статус другого исчезает, если отнять у него свободу воли. Таков вкратце непорочный круг.

## 2

Рассмотрим теперь иной вариант, лишь вскользь затрагивавшийся в теологии, преимущественно в ересях. Рассмотрение уместно начать с неожиданного вопроса: с чего, собственно говоря, мы взяли, что человек а priori превосходит любое другое сущее? Чем он лучше, совершеннее попугая, сосны, радуги? Да, из Библии явствует, что именно с человеком Бог больше всего возился. Но отсюда вовсе не вытекает представление о совершенстве, скорее следует признать, что Богу пришлось совершать *работу над ошибками*. И если искушенный теолог скажет: «Всемогущий Бог не может совершить ошибку», то всегда найдется еще более искушенный теолог, который уточнит: «Бог не может совершить такой ошибки, которую он не мог бы исправить...» В чем проявляется большая степень совершенства — еще вопрос, но путь исправления ошибки следует продумать до конца.

Сама ошибка могла возникнуть помимо творческой воли, объективно, исходя из того, что при любом понимании творческого акта существует еще сопротивление материи, то

есть всегда преднаходимого дотворческого состояния мира («тоху ва боху»). Важно иное: *ошибка Бога* предстает не в виде готового результата, по поводу которого остается лишь сокрушаться, скорее она есть некая заминка, задержка творения, она присутствует как преодоление сопротивления, как нечто, исправляемое сейчас. Человек — это, так сказать, «еще-незавершенец», он находится в процессе трансцендентного производства. Именно текущая незавершенность лежит в основе свободы воли, и, следовательно, свобода воли — это знак неокончательной готовности творения. Кроме того, это свидетельство сопротивления и это же само ретроспективное время (время исправления), которое, возможно, и есть источник всех прочих хроноресурсов. Незавершенность неизбежно включает в себя пробные моменты, так что ошибкой в узком смысле слова может считаться лишь конкретный пробный момент, произвольно остановленный и изъятый из процесса производства настоящего и будущего.

То есть у нас обнаруживаются основания считать, что пресловутая свобода воли, предмет неиссякающей гордости смертных, указывает лишь на неокончательность и, в большинстве случаев, на ошибку, *еще* или *как раз* в данный момент устраняемую. Внимание свыше привлечено, в первую очередь, к ошибке — и что же в этом удивительного, она как раз и устраняется в порядке непрерывности творения. Потому-то человек и существует в истории, а не в прикрепленности к неизменной сущности. *Человек есть то, что должно превзойти*, — вот один из важнейших тезисов Ницше, главная заповедь Заратустры, и похоже, что здесь философу удалось высказаться прямо от имени Бога, связав в чеканной формуле все разрозненные намеки и свидетельства.

Мы пойдем вослед, но прежде озадачимся вот чем: свобода воли — есть ли она привилегия, и если да, то в каком смысле?

В каком-то, довольно странном смысле — да. Как привилегия незавершенности перед завершенностью, как тик и своенравие Буратино, проявляемые, когда Папа Карло все еще водит свой рубанок и не разжал тиски. Буратино своевольничает ровно в той мере, в какой он еще полено, его обтесывание продолжается достаточно долго, особенно с точки зрения стружек... Стало быть, преимущество человека перед попугаем, сосной и радугой не так уж и значительно

и полностью зависит от системы отсчета. Возможно, что и попугай когда-то обладал преимуществом недосотворенности и утратил его в исчезающе малый момент времени. А человек обладает им сейчас, и его сущностное имя, озвученное Одиссеем в ответ на запрос Полифема, звучит все так же.

«Человек есть то, чем он не является», — согласимся с определением Сартра. Каким же в этом случае будет преобладающее направление теодицеи и антроподицеи? Возможно ли вообще сознание, сознающее само себя как ошибку? Не будь, однако, этой ошибки — не было бы и недоумевающего, не было бы сущего, отвечающего на вопрос «кто?» *Быть кем* и быть в качестве человека — значит либо устранять, либо усугублять ошибку — ведь только человеческое бытие наказуемо. Наказуемость свыше (грех) — это не обязательно отбрасывание негодных вариантов, ведь некоторые из них должны быть опробованы и могут рассматриваться как соучастие в исправлении, как возобновление приостановленной непрерывности творения. Что-то должно быть и удержано в упорствовании — такова собственно праведность. Но непостижимость замысла Бога связана с невозможностью оценить соотношение окончательных и промежуточных элементов уже сейчас.

Сущее, которое есть то, чем оно является, непогрешимо. А сущее иного рода, например, бытие от первого лица? Сказать, что оно «погрешимо», будет и неуклюже и неправильно: это сущее есть сама погрешность. И его должно превзойти.

Но оставим пока эту внешнюю, сверхчеловеческую оценку. Апология человека тогда будет означать сотрудничество в деле исправления ошибки, в ходе которого определяются избранничество и отвергнутость, ад и рай. Да, человек есть ошибка, но ошибка поправимая, и на то, чтобы ее исправить, дано время — время вообще дано только на это. Страшный Суд как подведение итогов упраздняет время, и в этом контексте не столь уж безумной выглядит описанная Борхесом ересь, согласно которой необходимо в ясном сознании своей миссии совершить все прегрешения, пойти на все преступления, оказав, тем самым, помощь в переборе вариантов. Если человек есть ошибка, а свобода воли — свидетельство ее и, одновременно, свидетельство ее поправимости, то миссия вполне может заключаться в том, чтобы принести себя в жертву (и жерт-

венный модус бытия составляет основу любой религии), следует лишь иметь в виду, что существуют жертвы угодные и неугодные, но в этом выборе, опять же, пути Господни неисповедимы.

Круг жертвоприношения запущен свыше, имя ему — смертность смертных. Принципиально важно, что человеческие индивиды умирают не так, как особи в природном мире, а так, как отмирают целые виды — за исключением тех смертных, которые существуют лишь для репрезентативности Статистической Выборки.

Так или иначе, отпущенное время предполагает не только перебор, но и сохранение фрагментов сущностной арматуры, которые и будут связаны в последнюю константу Творения. *Крепкие духом* попадут в рай, другое имя которому исправленная Ошибка. Собственно, они уже там, а их избранное присутствие уже здесь — они те участки заготовки, которых уже не коснется рубанок Папы Карло. Ни растения, ни животные не могут попасть в рай, поскольку они уже в раю, в принадлежности к своему виду, их бытие не наказуемо и не вознаграждено.

Здесь возникает ряд сложностей для понимания, но, одновременно, и ряд новых аргументов относительно некоторых «проклятых вопросов». Сохраняемое сохраняется свыше, а не как решение свободной воли, поэтому для индивида оно всегда выступает в той или иной форме непреложности — как историческая необходимость, как общественная детерминированность, как судьба. Даже *божья воля* дана извне и не совпадает с внутренней данностью. Далее, поскольку человек есть проект и набросок (Хайдеггер), он не может быть эталоном пригодности. Так называемый «антропный принцип» внутренне противоречив, ибо соизмеримость с текущими параметрами человеческого не является критерием удачности или неудачности *высшей Пробы*; отсюда, в частности, берет начало расхождение между «гуманизмом» и подлинной верой. Ведь гуманизм в качестве своего лекала по умолчанию использует преднаходимого человека, и в общем случае гуманизм — это отказ исправляться, увековечивание ошибки. Вот почему слова Господни о нем таковы: *сие есть мерзость предо мною*.

Наконец, еще один неизбежный вопрос теодицеи и оправдания человека: собственно свободная воля как ошибающееся, пробное бытие-в-себе, как сокровенное Я в форме для себя и как произвол, загадка и желание в форме для другого — чем же таким лучшим можно все это заменить в случае спасения? Что придет на смену за воротами рая? Общий ответ гласит: определенность и окончательность. Понятно, что речь не идет об определенности ежа, ожидаемая определенность будет ближе чем что-либо налично сущее к определенности самого Бога. Она будет прекраснее всех сосен и радуг мира, ибо включит их в себя. Но почему же ее так трудно желать?

По той же причине, по какой болезнь, обладай она желанием, не могла бы желать здоровья. Достижение такой определенности, исправление ошибки, означает превозмогание человека, аннулирование формы Я, которая немислима без свободы воли. Прибегая к гегелевской терминологии, можно сказать, что здесь происходит раскол самости и субстанции. Субстанция как искра божия стремится в полноту плеромы, к обладанию сущностью, к исправлению и к состоянию исправленности. Но самость как бытие-без-сущности не хочет ни определенности ежа, ни определенности ангела, она вообще хочет лишь до тех пор, пока исправляется ошибка, и, стало быть, до тех пор, пока ошибка не исправлена, пока длится история, событийность, длится само время. Ведь и время, во всяком случае линейное христианское время, есть сбой, заминка для вечности, для грядущей исполненности творения. Пока оно длится, вечность как бы приостанавливает свою юрисдикцию, время — это пауза для вечности.

Избавление от свободы воли не есть желание желающего, но все же представляет собой некоторую заданность, задачу, обретающую значимость для праведников. «Религия в пределах только разума», если уж прибегать к гегелевской терминологии, может использовать свободу воли как любимую игрушку, захватывающий пазл, лишиться которого очень не хотелось бы (о чем тогда писать трактаты), но для *опыта веры* как особого семиозиса характерна иная установка, выраженная в последних словах Христа и представляющая собой напутствие всякой верующей душе: «*Да свершится твоя воля, а не моя*». Это не частное желание обособленного индивида и вообще не желание желающего, это воля к обретению

сущности, о которой известно лишь, что она преобразит меня, преобразит Я, не оставив камня на камне от пробного соединения, способ данности которого и есть свобода воли. О царствии воли Его, как она представлена верующей душе, можно сказать почти теми же словами, какими Маркс характеризует коммунизм: «это не идеал, а действительное движение, которое должно уничтожить теперешнее состояние» («Тезисы о Фейербахе»). Таково же и царствие Его, преобразующее теперешнее состояние грехопадения и свободной воли в нечто устойчивое как спасенное. В ходе работы над ошибками видоизменяется все творение: оно должно выйти из паузы времени и воссоединиться с вечностью всеприсутствия, данности всего сразу. Из него исчезнет (будет исправлена) только ошибка, только человек, но ведь «человек» есть то, что должно превзойти. Избывший свободную волю утратит и прежнее имя, которое было промежуточным «вместоимением», а новый способ присутствия — без двусмысленности, без злой воли, без смертной невозобновимой телесности, рассогласованной с бессмертной душой, — он для сегодняшнего пробного, но исправляющегося существа есть исчезновение и небытие.

Непримиримый конфликт интерпретаций отражает роковое разночтение самого человеческого бытия — и в смысле Самости, и в смысле Dasein. Упорствующие ведут борьбу за то, чтобы их «не спутали с кем-то другим» (Ницше), но и жаждущие спасения души борются за обретения жизни вечной, полагая, что упорствующие в ошибке сохраняют индивидуальность лишь прижизненно, а не посмертно и что Господь сотрет все неудачные версии, а как только отпадет необходимость в коррекции, сотрет и память о них. Ибо раздираемая свободой воли душа не имеет статуса сущего (наличного бытия), она может осуществиться и осуществляется, но в нынешнем, посюстороннем существовании о ней нельзя сказать, что она скорее нечто, чем ничто, в большей мере она принадлежит к ничто, к ничтожению, к универсальной негативности, и человек воистину есть свое собственное превозмогание. Не имея определенного онтологического статуса, например, статуса вещи, движимая свободой воли, душа не является чем-то сотворенным в том смысле, в каком мы говорим о результатах, о плодах первых шести дней творения. Душа в форме Я не принадлежит к категории сотворенного, она

есть эксклюзивное сущее, творимое сейчас. Последний день творения словно завис в своей непрерывной, нескончаемой длительности — и в этом источник двойственности, которая сама удваивается и продолжает удваиваться вновь и вновь. Лишь поле сознания сжимает спонтанные версии мотиваций в бинарную оппозицию.

В рамках двойственности неразрешимым представляется вопрос: «Что есть Я?» Быть может, это нечто отвергнутое в тот момент, когда пришлось подчиниться давлению обстоятельств, позывным сверх-Я, совокупной воле другого (социальным предписаниям), но, может быть, Я — это, напротив, нечто вопреки всему удержанное, объективная ошибка, обладающая высшей субъективной ценностью, как пишет Юрий Разинов (Разинов Ю. Я как объективная ошибка. Самара, 2006). В любом случае это неустранимая двойственность, без чего воля не была бы свободной.

И здесь воля, которая свободна, получает еще одно определение: она есть испытание. Через это непростое испытание проходит осуществляемое, прежде чем стать сущим (осуществленным). Прохождение затягивается, затягивается как время, как история, но затыжка конечна, поскольку она не вечность, а лишь приостановка вечности. Идея избывания свободной воли органична для опыта веры, и манифестацией такого избывания является жертвоприношение. В рамках сакральной антропологии (антропологии сакрального) это самоотверженность: высшая форма избытка, избывающая сама себя.

## 3

Итак, теология Исправления Ошибки, выводящая свободную волю из того обстоятельства, что человек не есть нечто сотворенное (уже сотворенное), а есть нечто творимое сейчас, а следовательно, подлежащее устранению, как строительные леса по мере готовности здания, сталкивается с серьезными возражениями — и они не могут быть разрешены до конца. Выбор модальности в опыте веры не определяется каким-то особым решением на сей счет, наоборот, этот выбор сам определяет тип экзистенциальной решимости. Попробуем еще раз проанализировать суть спора, войти в новый вираж. Апологетический тезис, призванный увековечить свободу воли, гласит:

«Человек создан по образу и подобию божию и есть венец творения. В нем как срединном существе есть нечто от Бога-прообраза и нечто от глины, из которой он сотворен. Да, человеческие совершенства суть только тени божественных — но Бог узнает их как свое и хранит, сохраняя душу. Свободной воле среди них принадлежит решающая роль, ибо Бог, безусловно, обладает свободой воли, а никакое иное сущее ею не обладает — кроме человека. Разве отсюда не следует, что свобода человеческой воли воистину божественна и ее менее всего можно приписать голосу глины?»

«Не следует», — гласит контр-тезис тех, кто против обожествления неустранимости свободной воли. Спиноза отрицал свободу воли Бога в том смысле, что у Бога как субстанции *causa sui* нет и не может быть другой воли кроме той, что свершилась. В кратком и вольном изложении аргументы Спинозы выглядят следующим образом. Бог сотворил все, что «имел сотворить», и ему как совершенному существу не свойственен перебор замыслов, поиск лучшего решения. В Боге потенция и акт совпадают, от Бога исходит необходимость, в том числе и необходимость самой необходимости. Проблематическое поле возникает лишь попутно и происходит от несовершенства материи, материи творения. Стало быть, у нас нет оснований приписывать свободную волю, доступную в форме я, божественному началу, скорее именно неокончателность, сопротивление глины ответственно за пресловутую свободу воли. Впрочем, согласно Спинозе, еще более важным фактором является невежество, неспособность отдать отчет в истинных мотивах поступка.

Относительно предполагаемой свободной воли Создателя Писание говорит: *Пути Господни неисповедимы*. Стало быть, непостижима и воля Его. А уж «сходство» земной, посясторонней свободной воли с волей Творца и вовсе проблема проблем, это то, что усматривается крайне смутно и неотчетливо, говоря словами Декарта. Относительно Божественного Знания можно сказать, что оно является непосредственно вещественным: то, что у человека всего лишь *существительное*, у Бога есть *само существующее*. Понятно, что такое знание и такое познание далеки от человеческой рефлексии, зависящей от того, что предзадано и найдено. И все же апофатически мы способны выстроить содержательное

сравнение, позволяющее как-то понять оба полюса и определить параметры сопоставления, как это сделал Спиноза, заявив, что в истинном познании «порядок идей и порядок вещей один и тот же», установив, тем самым, богоподобный характер человеческого познания.

Вполне содержательным является и апофатический ход Канта, частенько отталкивавшегося от «иного возможного рассудка, чем наш». Этот *иной рассудок* способен рассматривать причинно-следственные связи мира в состоянии «данности сразу», таким образом, каким мы усматриваем лишь предметность. Апофатический ряд уместен и в отношении милосердия. Мы и здесь вправе сказать, что милосердие божие не таково, как человеческая милосердность с ее опорными этическими императивами. Не так, как человек, милосердствует Господь, он милосердствует так, как человек блаженствует...

Апофатические сопоставления в рассмотренных случаях позволяют понять, по крайней мере, суть нехватки и косвенно указывают на богоугодность соответствующих человеческих проявлений, их принадлежность к образу и подобию. В противоположность этому свободная воля человека нерелевантна даже для апофатического сравнения с непостижимой волей Бога, правильнее всего тут было бы говорить о привходящем совпадении имен. То, что именуется свободной волей в здешнем мире, отыскивается и по ту сторону на основании предполагаемой общей топики, но никакая иная характеристика, кроме непостижимости или неисповедимости, не годится. Непостижимость есть первополагаемость, которая при этом безвариантна и безвозвратна, а человеческая свободная воля принципиально стохастична, она формируется и реализуется на основе альтернатив. Императоры средневекового Китая могли, конечно, издавать указы о восходе и закате солнца в предписываемое время. И светило подчинялось, но «подчинялось» не воле Сына Неба, а хитрости разума (полезным советам придворных астрономов). Пропасть между неисповедимостью Бога и свободой человека гораздо больше, чем между божественным всезнанием и человеческим невежеством. Следовательно, как сказал бы Спиноза, Господь не может желать усовершенствования свободы воли смертного, но желает лишь избавления от нее и превосхождения этого промежуточного состояния.

Человеческая психология и, если угодно, сама достоверность присутствия способны принять свободную волю в качестве высшей ценности и вопреки воле Всевышнего и даже понимая, что речь идет именно об ошибке, о процессуальности перебора вариантов. Владимир Шинкарев в книге «Максим и Федор» утверждает: «Если совершил ошибку, имей мужество не исправлять ее». Мужество такого рода, безусловно, присуще человеку в не меньшей степени, чем мужество исправления ошибки и аннулирования своей правоты.

Мужество упорствовать в допущенной свыше ошибке тоже включено в опыт веры, в христианской традиции это путь Иакова, который удостоился имени «Израиль», «Боровшийся с Богом». Внутренняя формула такого опыта веры противоречива, но при этом действительна, и ее можно выразить следующим образом: «Ты воистину велик и всемогущ, Господь, но да свершится *моя* воля, а не твоя...», — и подобное упорствование вводит роковое замедление. Индивид, сознающий свою случайность, брошенность, посюстороннюю смертность и негарантированность спасения, настаивает на своем — и тогда в его бытие вводится особый род причинности — рок, а этим типом причинения в мире порождается пространство трагического.

Эпохи, культуры, мировоззрения существенно различаются в зависимости от того места, которое принадлежит мужеству не исправлять допущенную (хотя бы и не мной) ошибку, мужеству бытия-вопреки. Нельзя не выделить в этом смысле Античность, где рок и судьба явлены человеку в своей максимальной достоверности; христианский мир демонстрирует не меньшую решимость и мужество, но, так сказать, направленные противоположным образом — на устранение ошибки во что бы то ни стало. Важнейшие социальные и экзистенциальные следствия проистекают из немислимого и непостижимого, в данном случае из осознания и острого чувства своей промежуточности, пробности, неминуемой смертности, с которыми, тем не менее, надо что-то делать. Мужество в том, чтобы не успокаивать себя заклинаниями, легковесными утешениями насчет заранее гарантированной богоизбранности, но бестрепетно (и все же трепетно) принять факт краткосрочной заброшенности в мир, понимая, что форма

Я — это прежде всего способ самообнаружения. Даже если «я» ошибка, она не обязана сама себя исправлять. Но, с другой стороны, неисправимость Я столь радикальна, что простирается вплоть до самопожертвенного решения исправить себя — и посмотрим, чья возьмет!..

## 5

Очень важно пояснить с помощью различных дискурсов, что же означает пробный характер бытия и бытие ошиб-кой. Обратимся к сфере восприятия. В соответствии с естественной установкой мы увидим, что в фактуре предметности мир дается сразу: стоит открыть глаза, стоит взглянуть — и все предметы *уже здесь*. Они дискретны, статичны и выживают в своей статичности как предметы восприятия. Но это потому, что их пробное, становящееся бытие в сфере восприятия аннулировано, оно не присутствует в итоговом образе. Траектория становления изъята, но ее, однако, можно проследить посредством «энграмм», то есть констелляций нейронного возбуждения, находящихся за порогом восприятия (тщательные исследования становления образа даны в работах Н. А. Бернштейна и в монографии Л. М. Веккера «Психические процессы»). При некоторых расстройствах восприятия — агнозиях — промежуточные состояния визуализируются, и тогда мир становится неузнаваемым, привычные данности («хорошие формы») растворяются среди своих собственных и чужих заготовок.

Прожилки небытия, перегородки молчания, паузы, знаки препинания столь же важны, как и собственно вещи, дискретность которых определяется не только и не столько их внутренним, сколько, как раз, пустотой, интервалом, границей. Диалектика давно выяснила это обстоятельство и охотно демонстрирует его как один из своих лучших аттракционов. Для дилеммы исправления/упорствования принципиально важно то, что работа негативности есть прежде всего расписка интервалов, выкорчевывание и выбраковка «сорняков», дикорастущих версий бытия. В индуистской традиции это задача бога-хранителя Вишну, его непрестанная, будничная работа по удержанию мира в строгой различности дискретных *хороших форм*. Наконец в биологии, в эволюции живого это естественный отбор и различная селекция. Кстати,

и образы восприятия отличимы друг от друга благодаря своего рода селекции, неустанному истреблению бесформенности на подступах к итоговой картинке.

Но где же здесь я, как создается реальность Я в этой процессуальности? Я одновременно и отвергнутость, и попытка закрепиться в отвергаемом, носитель души-содержания и «великой пустоты посередине», заполняемой ситуативным, случайным содержанием. Природная самость есть некая определенность, и стремление к ней тоже определенность, взыскание бытия в признанности, но я ни с какой из них не совпадает и есть это несовпадение. Свободная воля дана самой себе прежде всего как чувство несовпадения. В отличие от определенности вещи реальность я не так легко дается диалектике, она всякий раз ускользает, как колобок из сказки. Вот что пишет по этому поводу Гегель:

«Свобода как раз и состоит в неопределенности воли, иначе говоря, в том, что воля не имеет внутри себя никакой природной определенности. Воля сама по себе, следовательно, есть всеобщая воля. Особенность или единичность человека не препятствует всеобщей воле, а подчинена ей... Здесь происходит то же самое, что и с произведениями искусства: даже те, кто не смог бы создать такого произведения, находят в нем выражение собственной сущности» (Гегель. Философская пропедевтика // Работы разных лет. Т. 2. С. 26).

Уклонения и рассогласования поддерживаются на плаву и служат указателями наличия Я, а всякий однозначный выбор, исключаящий возможность следующего выбора, объективирует Я, редуцирует спонтанную субъектность к той или иной форме одержимости. Разумеется, чрезвычайно важно, какого рода одержимость наступает — идет ли речь о служении, о долге или, например, о самопринуждении к наслажденчеству, как у маркиза де Сада, но в любом случае дилемма требует разрешения. Рассогласование согласуется, и я убывает. Тут, впрочем, следует различать возобновляемость выбора, когда сохраняется не только нечто выбранное, но и сам выбор, благодаря чему конституируется длительность я, длительность и достоверность бытия от первого лица, и чистую беспросветную одержимость, ограничивающую свободную волю раз и навсегда (к примеру, принятие монашеского сана, клятвы верности, строгого обета). Я как Ошибка, как рассогласование

может совершить новый выбор или возобновить прежний — однако если возобновление произойдет автоматически, без выбора, по инерции, то само *первое лицо* ставится под вопрос. Если только речь не идет о *спасенной душе*, ибо душа спасаясь не выбирает, она уже не ошибка, не версия, такая душа теперь сотворена, а не творима. Говоря о том, что временность входит в условие подлинности Dasein, Хайдеггер подразумевает, что выход из временности, переход в любое застывшее состояние, хотя бы и в саму вечность, уничтожает все модусы Daseinmassig. Придется еще раз отметить, что специфически человеческой свободной волей ничто сотворенное не обладает, равно как и ничто несотворенное, если иметь в виду Бога, ею обладает лишь *творимое сейчас*, только исправляемая ошибка в отличие от ошибки исправленной или непоправимой.

## 6

Обратимся теперь к естеству, то есть к природе. Уже упоминалась дискретность, различимость видов, сопоставимая с «выжившими видами» успешного восприятия. Тем не менее, уместно задать вопрос: почему так мало промежуточного в сплетении бесчисленных организмов, непрерывно извергаемых в мир? Почему человеческое воображение само должно выдумывать василисков и козлооленей? Генетический барьер между видами работает как фильтр и волнорез, тут же элиминирующий все случайные сбои, относимые по ведомству тератологии; вообще очевидно, насколько ничтожен онтологический статус ошибки в природе по сравнению с бытием субъекта. Если считать, следуя традиции некоторых мыслителей, что человеческий индивид условно равен виду в природе, а еще точнее — всей совокупности видов, то разнообразие видов может быть и не уступит разнообразию опыта субъекта, но поле субъектного опыта будет содержать несравненно больше козлооленей, а также всякой головоногости, брюхоногости и рукокрылости.

Стало быть, можно согласиться с выводом Аристотеля и Ницше, что человек может быть либо чем-то большим, чем животное, либо чем-то меньшим, но животным никогда. Исходя из этого еще Аристотель предположил, что боги чем-то ближе к животным, чем люди, исходя их теории ошибки нам понятно почему: боги бессмертны и не сотворены, животные сотворены и в качестве вида внутренне бессмертны, и только

человек не относится ни к тем, ни к другим, поскольку он есть *творимое сейчас*.

По отношению к природе человек с еще большей очевидностью предстает как ошибка, и можно добавить — как неисправленная ошибка. Взять хотя бы общеизвестные факты, например, максимальную степень рассогласованности биологических часов. Если рассматривать жизнь не как свойство живого тела, а как синхронизацию регулярностей, порождающую в итоге свой собственный циферблат (и тело как его главную разновидность), то отклонение получает особый смысл. Согласно Джулиусу Фрэзеру (J. Frazer. Time as conflict), жизнь конденсируется из замедлений. Устойчивая регулярность — это и есть «плазма жизни», биосреда, но существование организма в ней начинается со сдвига, с некоторого рассогласования по отношению к природным циклам. В мире живого отдельный организм задается как синхронизация плюс маленькая поправка, без которой невозможно существование отдельности (экземпляльности). Тем не менее, общий фон согласованности, вписанность в ритм и в считывание регулярностей заставляет говорить о живых часах или таймерах, обладающих, так сказать, разной степенью материализованности — от вполне конкретного организма до таких феноменов, как «цветение» или «нерест». Труды биохимиков и биофизиков полны удивительными примерами согласованности, настройки на биоритмы (циркадианные ритмы, поколенческие циклы, метаморфозы и т. д.), тут и предчувствие холодов, землетрясений, ожидание дождя и его окончания и даже крысы, бегущие с тонущего корабля, о судьбе которого команда, возможно, еще ничего не знает... К мелодии общих согласований добавлено лишь маленькое отличие, необходимое для маркировки единичности.

В ходе антропогенеза разрушаются все согласования, разрушаются до тех пор, пока не остается герметичный кокон я, монада с закрытыми окнами (Лейбниц), так что итоговое поведение определяется уже не столько точностью попаданий во внешние синхронизации, сколько *внутренним шумом*, являющимся прообразом свободной воли. По отношению к общей согласованности фюзиса, антропогенез можно определить как грандиозный сбой, как катастрофически нарастающую ошибку, где все «полезные приспособления»,

включая и само мышление, оказываются лишь эпифеноменами, ценность которых обнаруживается только *post factum* (Валлон А. От действия к мысли. М., 1956).

В известном смысле антропогенез удался именно благодаря мужеству не исправлять совершенную ошибку — вот только не ясно, чье это мужество, не является ли оно просто обратной стороной трансцендентной снисходительности, некой благосклонности свыше, принимающей, как всегда, форму *помощи трудностями?* Как бы там ни было, но траектория сознания предстает как цепочка катастроф, когда все регуляторы один за другим сигнализируют сбой, начиная от законов естественного отбора и заканчивая приоритетом генетической записи. Свободная воля, опять же, «складывается» из мотиваций, лишившихся своего монопольного доминирования и теперь перебивающих друг друга, чтобы овладеть инстанцией Я хоть на короткий срок.

## 7

Современная теория антропогенеза склонна считать, что человек появился в результате цепочки катастроф, теология рассматривает человека как зависшую катастрофу с шансами на спасение. Как же происходит отбор качеств для грядущего стабилизированного состояния, каковы свидетельства стабилизации сейчас, в текущем процессе работы над ошибками? Что можно отнести к контурам окончательной сотворенности? Определить соответствующий вектор очень даже не просто, поскольку человеческие регулятивы скроены по меркам существа, которое должно превзойти. Мораль, нравственность и право, поэтому, сохраняют неустранимую гетерономию по принципу *казнить нельзя помиловать*: неисполнение нравственных императивов есть неоскудевающий источник греха, свидетельство жестоковыйности, недоструганности человеческого материала, но, возможно, еще страшнее было бы полное торжество морали: как знать, не была ли бы этим увековечена промежуточность, не исчезли бы шансы экзистенциально нового бытия? В отсутствие человеческой нормы разрыв между должным и сущим выполняет роль важнейшего регулятива, посредством которого человеку дается бытие на вырост.

Ни в морали, ни, тем более, в праве мы не находим ясных указаний относительно завершения творения, хотя раздумий для работы над ошибками там предостаточно. Зато таким параметром стабилизации выступает превозмогание тела как наиболее верного свидетельства недосотворенности. Синтез нового тела, уже ставший задачей номер один современного человечества, заслуживает самого пристального внимания. В отличие от постулатов гуманизма (типа «ни при каких обстоятельствах не причинять друг другу боли»), санкция в отношении сборки нового тела отсутствует, во всяком случае, единодушная санкция. Моральные возражения, правовые нестыковки, обвинения в безнравственности понятны и легко объяснимы. Человек, пока он еще творим, а не сотворен, есть одновременно и больной, и болезнь; в качестве болезни он и не может желать выздоровления, но даже и как больной он не всегда стремится к излечению, к ис-целению, обретению цельности взамен разорванности. Однако и в отсутствие согласованной санкции разума, в том числе и в отсутствие внятного научного обоснования, практически уже отлаживается конвейер, проектируемый как продолжение рубанка Папы Карло. На нем можно выделить участки, контролируемые робототехникой, генной инженерией, косметической и пластической хирургией, а в роли ОТК, предлагающего картинку для сличения, выступает, разумеется, Голливуд. Как любил выражаться Маркс, «люди не осознают этого, но они это делают». Уточним: не осознают до конца, любопытно было бы посмотреть на реакцию Ницше, увидевшего, *как именно* собираются превзойти человека... Тем не менее, опыт веры, и, прежде всего, христианской веры, содержит в себе некоторые недвусмысленные предписания на этот счет. В основе их лежат слова Иисуса *я дам вам новое тело*, являющиеся сердцевиной учения о Преображении (в отличие от ветхозаветного воскрешения из мертвых, предполагающего восстановление прежней, изжитой плоти). В обещании Иисуса не содержится ответа на вопрос, когда и каким образом будут обретены новые тела, но ясно, что речь идет о состоянии спасенности, о Царстве Божием, для которого прежние тела не годятся.

Преображение имеет ряд параметров, при этом одним из важнейших является параметр скорости, всегда характеризующий пробное бытие. Обратим внимание на различие

между генезисом и поэзисом. Традиционно посредством генезиса порождается, сохраняется и приумножается природа, тогда как поэзис, переходящий в массовое производство, обеспечивает искусственную среду обитания, так сказать, все артефакты человеческого мира. Философы (не все, правда) уже давно утверждали, что самое существенное, собственно человеческое в человеке производится посредством поэзиса, — по сути дела, исключением оставалось тело, уже давным-давно оно оказалось в отстающих. Тело выполняло и все еще выполняет роль замедлителя, ограничивающего разброс пробного бытия. Поэзис, будь он стихосложением, сочинением музыки или же товарным производством, при всей своей устремленности к перепричинению, к «замене дарового на трудовое», как говорил Николай Федоров, останавливался перед мощью естественного генератора (генезиса, порождения), и довольствовался внесением незначительных или слишком медленных поправок, куда можно отнести, например, элементы дизайна внешности (область приложения усилий косметики, стоматологии и т. д.), но также и установки искусственного отбора. Сегодня удалось наконец проложить скоростную трассу поэзиса, позволяющую рассматривать исходную органику в качестве сырья.

Теперь мы можем метафору «Золотого ключика» слегка конкретизировать. Мы обратим внимание на то, что Буратино вырезается не из полена, а из живого дерева, и стало быть, в его ситуативном самосознании сплетаются, по меньшей мере, три голоса или три зова: зов самого Древа, исходящий из сквозного генезиса всей природы, голос недоступного чурбачка (именно его, по преимуществу, озвучивают этика, мораль и право) и Зов будущего, зов грядущего Преображения.

Этот последний зов по-прежнему пребывает в *недорас- слышанности*, от чего напрямую зависит и свобода воли. Ясно одно: работа над ошибками идет, причем ошибки совершаются уже в процессе работы над ошибками. Но срок их исправления неуклонно сокращается.

### Искусство забвения, или Не забыть забыть...

Прошлое — это самое страшное, что у нас есть.  
И что с ним делать, это самая большая проблема.  
М. Мамардашвили

#### Сцена из «Фауста»

Первый акт второй части трагедии Гете примечателен сценой, которая является ключом к финальной теме прощения Фауста. Измученный душевными страданиями герой лежит на цветущем лугу, пытаясь заснуть. В воздухе порхает хоровод маленьких эльфов и под аккомпанемент эоловых арф погружает Фауста в сон — сон забвения. В этом летаргическом сне ему предстоит избавиться от боли, причиняемой памятью о совершенных им вольно или невольно преступлениях (совершение и гибель Гретхен, убийство ее брата, смерть ее матери, утрата совместно нажитой дочери). Виновная память, подавляя волю и иссушая желания, лишает героя последней силы — силы для продолжения жизни<sup>1</sup>. Что еще остается Фаусту, стоящему у последней черты, «внутри себя глядящему, как в книгу», но находящему там лишь «скитальца», «выродка», «унылого подонка»? На этот вопрос дает ответ Мефистофель, прибегнувший к испытанному средству: в глубине гипнотического сна звучит команда «забыть!». Проснувшийся к новой жизни Фауст не вспоминает больше о Гретхен. Он исцелен. В нем пробуждается подавленная памятью воля к жизни. Комментируя этот эпизод, Г. Адорно пишет: «Сила жизни, в форме силы для дальнейшей жизни, уподобляется забвению. Тот, кто пробудился к жизни и встречает мир, где “все дышит жизнью вдохновенной”, и вновь возвращается “к земле”, способен только на это, он ведь больше не помнит ужаса от совершенного ранее»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Говоря «последнее», мы также имеем в виду «первое», ибо последним для человека всегда является его первое.

<sup>2</sup> Адорно Т. В. К заключительной сцене «Фауста» // Коллегиум. 2004. № 1–2. С. 191.